

К 60-летию творческой деятельности М. А. Шолохова

60 лет назад, 19 сентября 1923 года, в газете «Юношеская правда», органе ЦК и МК комсомола, впервые были опубликованы строки человека, ставшего вскоре классиком советской и мировой литературы.

Было тогда Михаилу Александровичу Шолохову всего восемнадцать лет.

Самые первые его произведения, написанные в жанре фельетона, острого и злободневны. Публиковались они в комсомольских газетах и журналах за подписью: «М. Шолох». Лаконизм, богатство, образность языка, точность в отборе деталей, безупречное знание материала — все эти составляющие таланта Михаила Александровича Шолохова с каждой новой публикацией проявлялись все в большей и большей мере. Уже через год фельетонист

М. Шолох исчезает с газетных полос, и появляется новеллист, рассказчик, прозаик М. Шолохов.

В двадцать лет написан «Нахаленок», через год выходит сборник «Донские рассказы». В двадцать три года опубликована первая книга «Тихого Дона»...

Рассказ «Жеребенок», который мы сегодня публикуем, один из первых, самых ранних, он появился в газете «Молодой ленинец» в 1926 году.

Требовательность к себе и ответственность перед читателем — без этих принципов становление таланта невозможно. Шолохов щедро делится накопленным опытом с молодыми литераторами.

«Очень велика ответственность писателя перед народом, очень велика. Мы все вместе и каждый из нас отдельно

должны быть совестью народа... не торопитесь высказать невыношенное. Надо дать жизнь такой книге, которая бы звучала и жила долго».

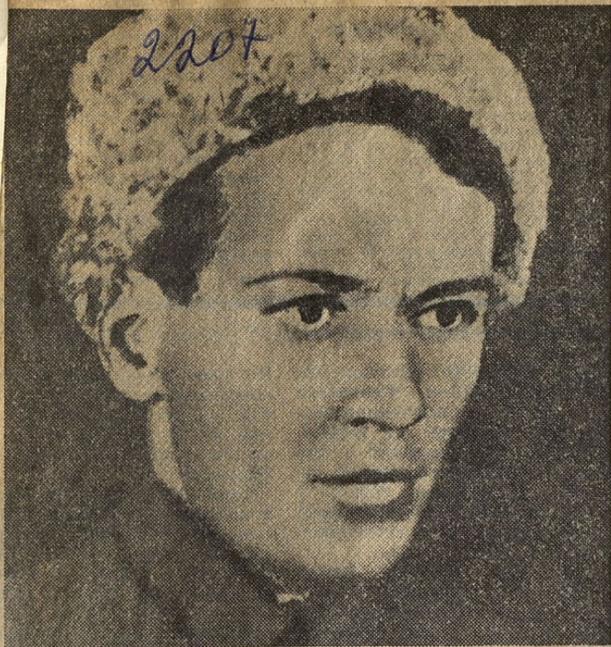
Книги его зачитываются и перечитываются на многих языках мира вот уже шесть десятилетий. Они близки людям, они нужны им.

Писатель и его Родина — что может быть ближе другу, какое родство может быть кровнее? И жизнь, и творчество Михаила Александровича Шолохова являются собой ярчайший пример беззаветной преданности своему народу, Коммунистической партии, Стране Советов.

За шестьдесят лет творческой деятельности замечательного мастера слова им созданы произведения, ставшие гордостью советской и мировой литературы. Эпопея «Тихий Дон», роман «Подня-

тая целина», рассказ «Судьба человека», главы романа «Они сражались за Родину», «Донские рассказы», повесть «Путь-дороженька» стали любимыми книгами советской молодежи. Михаил Александрович Шолохов — поистине народный писатель. «Я видел и вижу свою задачу как писателя», — говорил он при вручении ему Нобелевской премии, — в том, чтобы всем, что написал и напишу, отдать поклон... народу-труженику, народу-строителю, народу-герою, который ни на кого не нападал, но всегда умел с достоинством отстаивать созданное им, отстаивать свою свободу и честь, свое право строить себе будущее по собственному выбору».

«Комсомольская правда» поздравляет дважды Героя Социалистического Труда Михаила Александровича Шолохова с 60-летием творческой деятельности.



СРЕДИ белого дня возле навозной кучи, гуто облепленной изумрудными мухами, головой вперед, с вытянутыми передними ножами выбрался он из мамониной утробы и прямо над собою увидел нежный, сизый, тающий комочек шрапнельного разрыва, воздвигший гул кинул его мокроное тельце под ноги матери. Ужас был первым чувством, изведенным тут, на земле. Вонючий град карточек с цоканьем застучал по черепичной крыше конюшни и, слегка окропив землю, заставил мать жеребенка — рыжую Трофимову кобылицу — вскочить на ноги и снова с коротким ржаньем привалиться вспотевшим боком к спасительной куче.

В последовавшей затем знойной тишине отчетливой зажуужали мухи, пегух, по причине орудийного обстрела не рискуя вскочить на плетень, где-то под сенью лопухов разок-другой хлопнул крыльями и непринужденно, но глухо пропел. Из хаты слышалось плачущее кряхтение раненого пулеметчика. Изредка он вскрикивал резким осипшим голосом, перемежая крики неистовыми ругательствами. В палисаднике на шелковистом багрянце маки звенели пчелы. За станицей в лугу пулемет доканчивал ленту, и под его жизнерадостный строчащий стук, в промежутке между первым и вторым орудийными выстрелами, рыжая кобыла любовно облизала первенца, а тот, припадая к набухшему вымени матери, впервые ощутил полноту жизни и неизбывную сладость материнской ласки.

Когда второй снаряд жмякнулся где-то за гумном, из хаты, хлопнув дверью, вышел Трофим и направился к конюшне. Обходя навозную кучу, он ладонью прикрыл от солнца глаза и, увидев, как жеребенок, подрагивая от напряжения, косет его, Трофимову, рыжую кобылу, растерянно пошарил в карманах, дрогнувшими пальцами нащупал кисет и, слянявая цигарку, обрел дар речи:

— Та-а-ак... Значит, огелилась? Нашла время, нечего сказать. — В последней фразе сквозила горькая обидка.

К шершавым от высохшего пота бокам кобылы прилипли бурьянные бычки, сухой помет. Выглядела она непривлекательно худой и жидковатой, но глаза лучили горделивую радость, приправленную усталостью, а атласная верхняя губа ежилась улыбкой. Так по крайней мере казалось Трофиму. После того как поставленная в конюшню кобыла зафыркала, мотая торбой с зерном, Трофим прислонился к косяку и, неприязненно косясь на жеребенка, сухо спросил:

— Догулялась?
Не дождавись ответа, заговорил снова:
— Хоть бы в Игнатову жеребца привела, а то черт его знает в кого... Ну, куда я с ним денусь?

В темноватой тишине конюшни хрустит зерно, в дверную щель точит золотистую россию солнечный кривой луч. Свет падает на левую щеку Трофима, рыжий уе его и щетина бороды отливают красниною, складки вокруг рта темнеют изогнутыми бородами. Жеребенок на тонких пушистых ножках стоит, как игрушечный деревянный конек.

— Убить его? — Большой, пропитанный табачной зеленью палец Трофима кривится в сторону жеребенка.

Кобыла выворачивает крованистое глазное яблоко, моргает и насмешливо косится на хозяина.

В горнице, где помещался командир эскадрона, в этот вечер происходил следующий разговор:

— Примечаяю я, что бережестя моя кобыла, рысью не перебежит, наметом — не моги, опущка ее душит. Доглядел, а она, оказывается, сжеробанная... Так уж береглась, так береглась... Жеребчик-то масти гнедоватой... Вот... — рассказывает Трофим.

Эскадронный сжимает в кулаке медную кружку с чаем, сжимает так, как эфес палаша перед атакой, и сонными глазами глядит на лампу. Над желтым светлячком огня беснуются пушистые бабочки, в окно налетают, жгутся о стекло, на смену одним — другие.

— ...безразлично. Гнедой или вороной — все равно. Пристрелить. С жеребенком мы навродь цыгане будем. Что? Вот и я говорю, как цыгане. А ежели командующий, что тогда? Приедет осмотреть полк, а он будет перед фронтом солонцевать и хвостом этак... А? На всю Красную Армию стыд и позор. Я даже не понимаю, Трофим, как ты мог допустить? В разгар гражданской войны и вдруг подобное распутство... Это даже совестно. Коноводам строгий приказ: жеребцов соблюдать отдельно.

Утром Трофим вышел из хаты с винтовкой. Солнце еще не взошло. На траве розовела роса. Луг, истоптанный сапогами пехоты, из-

рытый окопами, напоминал заплаканное, измятое горем лицо девушки. Около полевой кухни возлиез кашевары. На крыльце сидел эскадронный в сопревшей от давнишнего пота исподней рубашке. Пальцы, привывшие к бодрящему холодку револьверной рукоятки, неуклюже вспоминали забытое, родное — плели фасонистый половник для вареников. Трофим, проходя мимо, поинтересовался:

— Половничек плетете?
Эскадронный увидав ручку тоненькой хворостинкой, процедил сквозь зубы:

— А вот баба-хозяйка — просит... Сплети да сплети. Когда-то мастер был, а теперь не того... не удался.

— Нет, подходице, — похвалил Трофим. Эскадронный смел с колен обрешки хвороста, спросил:

— Идешь жеребенка ликвидировать?
Трофим молча махнул рукой и прошел в конюшню.

Эскадронный, склонив голову, ждал выстрела. Прошла минута, другая — выстрела не было. Трофим вывернулся из-за угла конюшни, как видно, чем-то смущенный.

— Ну, что?
— Должно, боек спортился... Пистон не пробивает.

— А ну, дай винтовку.

ЖЕРЕБЕНОК

Трофим нехотя подал. Двинув затвором, эскадронный прищурился.

— Да тут патрон нету!..

— Не может быть!.. — с жаром воскликнул Трофим.

— Я тебе говорю, нет.

— Так я ж их кинул там... за конюшней... Эскадронный положил рядом винтовку и долго вертел в руках новенький половник. Свежий хворост был медвяно пахуч и липок, в нос ширяло запахом цветущего краснотала, землей попахивало, трудою, позабытым в неумном пожаре войны...
— Слушай!.. Черт с ним! Пущай при матке живет. Временю и так далее. Кончится война — на нем еще того... пахать. А командующий на случай чего войдет в его положение, потому что молочник и должен сосать... И командующий титьку сосал, и мы сосали, раз обычной такой, ну, и шабаш! А боек у твою винта справный.

Как-то, через месяц, под станицей Усть-Хоперской эскадрон Трофима ввязался в бой с казачьей сотней. Перестрелка началась перед сумерками. Смеркалось, когда пошли в атаку. На полпути Трофим безнадежно отстал от своего взвода. Ни плетя, ни удила, до крови раздиравшие губы, не могли понудить кобылу идти наметом. Высоко задирая голову, хрипло ржала она и топталась на одном месте до тех пор, пока жеребенок, разлопушив хвост, не догнал ее. Трофим прыгнул с седла, пихнул в ножны шашку и с перекосенным злобой лицом рванул с плеча винтовку. Правый фланг смешался с белыми. Возле яра из стороны в сторону, как под ветром, колыхалась куча людей. Рубились молча. Под копытами коней глухо гудела земля. Трофим на секунду глянул туда и схватил на мушкетерскую голову жеребенка. Рука ли дрогнула сгорая, или виною промаха была еще какая-нибудь причина, но после выстрела жеребенок дурашливо взбрыкнул ногами, тоненько заржал и, выбрасывая из-под копыт седые комочки пыли, описал круг и стал поодаль. Обойму не простых патронов, а бронебойных — с красно-медными носами — выпустил Трофим в рыжего чертенка и, убедившись в том, что бронебойные пули (случайно попавшие из подсумка под руку) не причинили ни вреда, ни смерти потому что рыжей кобылы, вскочил на нее и, чудовищно ругаясь, трюнком поехал туда, где бородастые краснорозжие старожеры теснили эскадронного с тремя красноармейцами, прижимая их к яру.

В эту ночь эскадрон ночевал в степи возле неглубокого буерака. Курили мало. Лошадей не расседывали. Развез, вернувшийся от Дона, сообщил, что к переправе стянуты крупные силы противника.

Трофим, укутав босые ноги в полы резинового плаща, лежал, вспоминая сквозь дрему события минувшего дня. Плыли перед глазами: эскадронный, прыгающий в яр, шербаты старожер, крестящий шашкой по-

литкома, в прах изрубленный москлявенький казачок, чье-то седло, облитое черной кровью, жеребенок...

Перед светом подошел к Трофиму эскадронный, в потемках присел рядом.

— Спишь, Трофим?

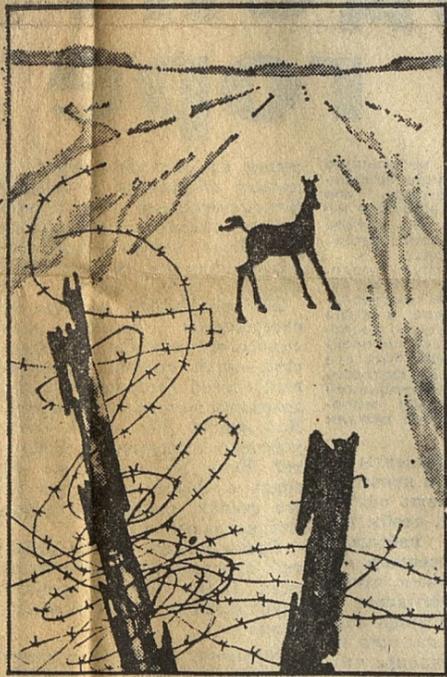
— Дремаю.

Эскадронный, поглядывая на меркнувшие звезды, сказал:

— Жеребца свое сничтожь! Наводит панику в бою... Гляну на него, и рука дрожит... рубить не могу. А все через то, что вид у него домашний, а на войне подобное не полагается. Сердце из камня обращается в молоток... И между прочим, не стоптали поганца в атаке, промерж ног крутились... Помолчав, он мечтательно улыбнулся, но Трофим не видел этой улыбки. — Понимаешь, Трофим, хвост у него, ну, то есть... положит на спину, взорывается, а хвост, как у лисы... Замечательный хвост!..

Трофим промолчал. Накрыв шинелью голову и, подрагивая от росной сырости, уснул с диковинной быстротой.

Против старого монастыря Дон, притиснутый к горе, мчится с бесшабашной стремительностью. На повороте вода кучерявится завитушками, и зеленые гривастые волны с наскока поталкивают меловые глыбы, рассыпанные у воды вешним обвалом.



Если б казаки не заняли колена, где течение слабее, а Дон шире и миролюбивей, и не начали оттуда обстрела предгорья, эскадронный никогда не решился бы переправлять эскадрон вплавь против монастыря. В полдень переправа началась. Небольшая комья подняла одну пулеметную тачанку с прислугой и тройку лошадей. Левая пристяжная, не выдавшая воды, испугалась, когда на середине Дона комья круто повернула против течения и слегка накренилась набок. Под горой, где спешенный эскадрон расседывал лошадей, отчетливо слышно было, как тревожно она хрела и стучала подковами по деревянному настилу комья.

— Загубит лодку! — хмурясь, буркнул Трофим и не донес руку до потной спины кобылы: на комьяе пристяжная дико всхрапнула, пятась к дышлу тачанки, стала в дыбки.

— Стреляй!.. — заревел эскадронный, комкая плеть.

Трофим увидел, как наводчик повис на шее пристяжной, сунул ей в ухо наган. Детской хлопнушкой стукнул выстрел, коренник и правая пристяжная плотней прижались друг к другу. Пулеметчики, опасаясь за комьягу, приправили убитую лошадь к залку тачанки. Передние ноги ее медленно согнулись, голова повисла...

Минут через десять эскадронный заехал с косы и первый пустил своего буланого в

воду, за ним следом с грохочущим плеском ввалился эскадрон — сто восемь полуголых всадников, столько же разномастных лошадей. Седла перевозили на трех каюках. Одним из них правил Трофим, поручив кобылу взводному Нечепуренко. С середины Дона видел Трофим, как передние лошади, забредая по колено, нехотя глотали воду. Всадники понукали их вполголоса. Через минуту в двадцати сажнях от берега густо зачернели в воде лошадиные головы, послышалось многоголосое фырканье. Рядом с лошадьми, держась за гривы, подвязав к винтовкам одежду и подсумки, плыли красноармейцы.

Кинув в лодку весло, Трофим поднялся во весь рост и, жмурясь от солнца, жадно искал глазами в куче плывущих рыжую голову своей кобылы. Эскадрон похож был на ватагу диких гусей, рассыпанную по небу выстрелами охотников: впереди, высоко поднимая глянцевитую спину, плыл буланый эскадронный, у самого хвоста его белыми пятнышками серебрились уши коня, принадлежавшего когда-то политкомучу, сзади плыли темной кучей, а дальше всех, с каждой секундой отставая все больше и больше, виднелись чубатая голова взводного Нечепуренко и по левую руку от него острые уши Трофимовой кобылы. Напрягая зрение, Трофим увидел и жеребенка. Плыл он толчками, то высоко выбрасываясь из воды, то окунаясь так, что едва виднелись ноздри.

И вот тут-то ветер, плеснувший над Доном, донес до Трофима тонкое, как нитка паутины, призывное ржанье: и-и-и-го-го-го!..

Крик над водой был звонок и отточен, как жало шашки. Полоснул он Трофима по сердцу, и чудное сделалось с человеком: пять лет войны сломал, сколько раз смерть подвиги засматривала ему в глаза, и хоть бы что, а тут побелел под красной щетиной борода, побелел до пепельной синевы — и, ухватив весло, направил лодку против течения, туда, где в коловерти кружилась обессилевший жеребенок, а сажнях в десяти от него Нечепуренко силится и не мог повернуть матку, плывущую к коловерти с хриплым ржаньем. Друг Трофима, Стешка Ефремов, сидевший в лодке на куче седла, крикнул строго:

— Не дури! Правь к берегу! Видишь, вон они, казаки!..

— Убыло! — выдохнул Трофим и потянул за ремень винтовку.

Жеребенка течением снесло далеко от места, где переправлялся эскадрон. Небольшая коловерть плавно кружила его, обливая зелеными гребенчатými волнами. Трофим судорожно махал веслом, лодка двигалась скачками. На правом берегу из яра выскочили казаки. Забарабанила басовитая дробь «максима». Чмокаясь в воду, шипели пули. Офицер в изорванной парусиновой рубашке что-то кричал, размахивая наганом.

Жеребенок ржал все реже, глуше и тоньше был короткий режущий крик. И крик этот до холодного ужаса был похож на крик ребенка. Нечепуренко, бросив кобылу, легко поплыл к левому берегу. Подрагивая, Трофим схватил винтовку, выстрелил, целясь ниже головки, засосанной коловертью, рванул с ног сапоги и с глухим мычаньем, вытягивая руки, плюхнулся в воду.

На правом берегу офицер в парусиновой рубашке гаркнул:

— Пре-кра-тить стрельбу!..

Через пять минут Трофим был возле жеребенка, левой рукой подхватил его под нахолодавший живот, захлебываясь, судорожно икая, двинулся к левому берегу... С правого берега не стукнул ни один выстрел.

Небо, лес, песок — все ярко-зелено, призрачно... Последнее чудовищное усилие — и ноги Трофима скребут землю. Волоком вытянул на песок ослзное тельце жеребенка, всхлипывая, блевал зеленой волдой, шарил по песку руками... В лесу гудели голоса переплывших эскадронцев, где-то за косою дребезжали орудийные выстрелы. Рыжая кобыла стояла возле Трофима, отряхиваясь и обливая жеребенка. С обвислого хвоста ее падала, втыкаясь в песок, радужная струйка...

Качаясь, встал Трофим на ноги, прошел два шага по песку и, подпрыгнув, упал на бок. Слово горячий укол пронизал грудь; падая, услышал выстрел. Одинокий выстрел в спину — с правого берега. На правом берегу офицер в изорванной парусиновой рубашке равнодушно двинул затвором карабина, выбрасывая дымящуюся гильзу, а на песке, в двух шагах от жеребенка, корчился Трофим, и жесткие посиневшие губы, пять лет не делавшие детей, улыбались и пенились кровью.